

БОРИС

ЗА

50

1941

1971

ЛЕТ

ФИЛИПОВ

Жене

БОРИС ФИЛИПPOB

ЗА ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

С т и х и
Избранное
1941-1971

Вашингтон
1971

Обложка работы Марка
Розанова

Copyright © 1971, by Author

ГРАД НЕВИДИМЫЙ

I

... И на пальцах троп лесных
ты живешь в заклЯтой хате.
Веют бархатные сны,
сказка всходит на полати:
«Как по белым по снегам,
по зеленым по лугам,
по болотам, через лес
мчится ведьма, скачет бес,
по незнаемой тропе,
баба в огненной ступе,
а за нею через брод
весь лесной вихрастый сброд.
Той окольною тропой
ковыляет домовой,
леший с девичьей толпой:
цветь во вьюжной бороде,
зелень в Иордань-воде.
Месяца светлеет рог,
на распутье трех дорог
вышел на охоту Бог.
В стороне на курьих ножках
ведьмы ветхая сторожка:
под косящатым окошком
кот шипит и плачет кошка.
Постучись, дружок, немножко
в одинокое окошко!
Тру-ру-ру --- поет рожок:
спи, касатик, слышь, дружок:

у границ семи морей
льется кровь богатырей:
им ни охнуть, ни вздохнуть:
кровью залит веры путь.
Но они не отдадут
злой судьбе железных пут.
Пусть скрежещет зимний ад —
жив за лесом Светлый Град!
Вышла к рекам верных рать
за отчизну умирать, —
но спасла свой город Мать:
пусть ярится вражий стан:
град повил золотой туман,
в край непуганных ворон
льется несказанный звон.
Заалел рассвет-восток . . .
«Спи, касатик, слышь, дружок» . . .
На распутье трех дорог
ты живешь в заклЯтой хате.
Месяца светлеет рог,
вышел на охоту Бог,
сказка дремлет на полатях . . .
Сна в сознание не тревожь:
в сказке правда. В жизни — ложь.

II

Над черною бездной по звездной тропе
серебряных ангелов крылья.
Смешайся с тенями и в лунной толпе
спеши к Незакатному Граду!
Там пазори ходят дозором седым
вкруг стен из червонного злата,

алмазною россыпью стелется дым
с бойниц огневого раската.
И синей листвою сады шелестят,
рубинами вишен сверкая,
жар-птицы слетают в лазоревый сад,
где золото яблок свисает.
И детские лики усопших родных
кивают из русского рая,
и вещими рунами сыплется стих
и белые крины ласкает.
Смешайся с тенями, лети же, лети
на звон Невечернего Света!
Дневного не сыщешь к Отчизне пути
до дня первозданного лета.

III

За горами, лесами дремучими
пролегла путь-дорога на Русь:
солнце скрылось за сизыми тучами,
хлещет ельник ветвями колючими . . .
сквозь болота к тебе проберусь!

Столбовую минуя дороженьку,
по тропинкам народной молвы,
в скит лесного кудлатого Боженки
проберусь из сожженной Москвы.

Запах гари в последнем молении
и святой огневой Светлояр,
крюковое исконное пение,
убиенного князя явление
и небесный закатный пожар . . .

За лесами, за горными кручами
залегла затаенная Русь:
запевает ветрами могучими,
завевает метелями жгучими . . .
сквозь чепыжник к тебе проберусь!

IV

Железная хромая каланча
и монотонная безбрежность частоколов,
и лица каменных сарматских истуканов, —
но заживут целительные раны,
вновь расцветут в Европе рестораны,
и трубка вечная седого палача
затлеется среди таёжных долов.

- - Круши весь мир! Руби его сплеча!
несется песнь закованного стана,
кричит Москва в тисках монгольских ханов,
и в гром московских вздыбленных таранов
вонзился пошепт и ланцет врача . . .

— Спаси, Бомелий, воскреси касатку!
я душу выкуплю кровавою ценой! —
И мечется, голодный и больной,
в смертельном трепете отцовской лихо-
радки.

— Ни золото, ни кровь не воскресят,
но смертью смерть, насытятся,
поперхнется. —
И мчится ослепительный парад
к воды живой забытому колодцу.

— Ломай тропы неизвестной кустодь!
К источнику любви спеши, лети, мой конь! -

«В сей день, его же сотвори Господь,
возрадуемся и возвеселимся в онь» . . .

V

Лунная ночь, и обломки бывшего
черными фресками пали в снега.
Сбрось же душевности душевой оковы,
снова шепчи Первородное Слово:
двигаются тени иных поколений,
в зыбкой мелодии пляшут рога.

Мчатся сквозь облако лунные санки:
на предпоследний небесный парад
тени дневных обездушенных стад
тащат бывшего святые останки:
ветхой истории искрится ад.

Дух мой несется сквозь лунные льдины,
звонко поют золотые рога.
К новой голгофе Предвечного Сына
путь застилают снега . . .

VI

Холодно, тяжело под сумрачным небом,
взвешено время, на каждом печать,
и за ржаным обездушенным хлебом
мчится на пламя безумная рать.
Больше нет сил ни страдать, ни молиться:

вязнет молитва в бездонных снегах,
падают души — подбитые птицы ---
в снежную замять и в мертвенный страх.
Запороши мне греховные раны,
плотскую душу пургою омой ---
и под победные трубы Осанны
ринется дух просветленный домой:
в Город, лазоревым облаком скрытый,
звоном разбивший душевную плоть,
в Город, слезою молитвы омытый,
где расцвела первозданная плоть . . . ---

. . . и сей град болший Китеж невидим бысть и
покровен рукою Божию, иже на конец века сего
многомятежна и слез достойнаго, покры Гос-
подь той град дланию своєю и невидим бысть
по их молению и прошению, иже достойне и
праведне тому припадающих иже не узрит скор-
би и печали от зверя антихриста, токмо о нас
печалуют день и ночь, о отступлении нашем
всего государства московского, яко антихрист
царствует в нем и вся заповеди его скверная
и нечистыя, запустение града того поведают
отцы . . .

Поздно. Сутёмки. Снега голубеют.
В Город Незримый нет боле следа.
Скорбными песнями ангелы реют.
Возгласы труб. Предвечерье Суда.

1942

МУЗЫКА

1. БАХ

На крыше ржаво заскрипел петух,
вонзился крест в безоблачное небо,
в органе говор ветра не потух:
простая тема: даждь сегодня хлеба.

Подслушанный случайно разговор,
раздумчивый распев рожка пастушья
ввергаешь ты в торжественный собор,
противоборствуя удушью и бездушью.

Вздыхает хор: Ты, Сильный, в небесах,
Ты требуешь немедленной расплаты . . .
Звонит мелодия: напрасен страх:
с Господним Именем в младенческих устах
ты внидешь Вечности в забытые палаты.

1949

2. ГАЙДН

Парик, косица, бархатный камзол.
И выцветшая горькая улыбка.
У князя гости и парадный стол.
Оркестр тишком настраивает скрипка.

И песнь течет, исконная как хлеб,
и рысь альтов сменяет резвость скрипок,
и хрипый контрабас, ворчлив и слеп,
зовет фагот под сень наивных липок.

Девчонки-флейты ахая спешат
в кусты, к ручью болтливого кларнета,
литавров гром и струнных галопад —
симфония безоблачного лета.

А на душе тревожный листопад
и свищет ветер зло и заунывно . . .
Но вновь забрызжет скрипок водопад
и запоет виолончель призывно.

Притихли гости. Гайдн стирает пот.
И князь ему подносит кубок меду.
Сменяют блюда. Смех. И в честь господ
оркестр гремит торжественную коду.

1942

3. МОЦАРТ

С полуночи зазвенели струны,
детский хор, заплакали басы —
Dies irae сумрачные руны,
рок предвечный пудреной косы.

Умирать так трудно и не надо . . .
Колокольцам Папагено вслед
беззаботно петь в лучах Монады
радость детскую всецелых лет.

Обгоняет тема ход органа,
слезно молит: Боже, обожди!
Крестный ход любви, рассудка рану
заливают голоса-дожди.

Но явилась скорбная вещунья,
нарушая фуги голосов:
Дон-Жуану ворожит колдунья,
хор гремит встревоженных басов.

Мать Пречистая, Святая Роза! —
Льются звуки вечной тишины,
и в веках запела *Lacrimosa*
на полях чужой ему страны . . .

1942

4. БЕТХОВЕН

В буре струнных рождается слово,
клич тромбонов и песня валторн ---
а вселенная — чувственный горн,
но не тощий трактат богослова.

Свет от Света, Предвечный Огонь,
Бог Всецелый в творенье поэта! ---
Мчится музыки воинский конь,
и звенит заревая комета.

Слава в вышних! — поют голоса.
Развевается конская грива,
против ветра идет торопливо, —
под ногами и кровь и роса . . .

В диком скерцо — угрозы Судьбы —
не поддамся ее приговору! —
С этим кликом великой борьбы
ты спускаешь скрипичную свору.

И опять — то монах, то бунтарь —
ты вопишь в исступленной обедне, —
а оркестр всё свободней, победней,
и ликует восставшая тварь

1942

5. ШУБЕРТ

... Потихоньку постучался Шуберт
и вошел в расстегнутый рояль,
и запела вздрогнувшая сталь, —
на охоту с псами скачет Губерт.

Лес в косматых клейких волосах
затерял сосцы набрякшей тучи,
а мелодия взметнулась круче —
всадника пленил неясный страх.

Капельки росы в густой ожине
хлещут ветки злобной красоты,
пробираясь к солнцу сквозь кусты,
он забыл об истомленном сыне.

Раскатилась зимняя гроза,
мечется в сутёмках канонада,
Волхова слепая эспланада
снежной кровью порошит в глаза.

В беспредельность боевых равнин
льется сказкой старая баллада,
и целует сына властелин,
и чело извечного номада
озаряет вдумчивый камин . . .

А в руках — убитый сын . . .

1942

6. ВЕРДИ

Плавная ночь. И бренчит мандолина.
В неводе сердце — в длинном луче.
О, полюби бедняка, синьорина,
сердце, истай в теноровом ключе!

Родину скоро покинем с тобою,
за море рваной толпою уйдем,
оперных арий привычной гурьбою
не огласится наш брошенный дом.

Льется мелодия каждой шарманкой,
в душу вонзаясь до самого дна . . .
Хмурый шарманщик с седой обезьянкой,
о, не спеши: наша участь — одна . . .

1942

7. ЭДВАРД ГРИГ

За далекими холодными морями,
за далекими холодными холмами,
за пушистыми холодными снегами
ты живешь как речка или ветер,
ты поешь и ждешь меня домой.

Я вернусь, вернусь в родимый город! —
я увижу пристани и шпили,
тихие хромые переулки,
гулкий дразг окраинных заводов
и кресты схилившихся могил . . .

За далекими морями те же сосны,
за далекими холмами те же реки,
за пушистыми снегами те же люди, —
но увижу ли тебя, родная,
но услышу ль песенку любви?

Спой мне, Сольвейг, песню нашей встречи,
спой, Снегурочка, о радости скитаний —
огоньке на дальнем перевале,
а за ним — приветный Отчий Дом.

1946

8. ПЕРВАЯ СИМФОНИЯ Г. МАЛЕРА

Святой говорил хорошо,
но люди ему не внимали,
он на́ берег моря ушел
и рыбам любовь проповедал.
И слушали рыбы его,
ораторский пыл одобряли,
и плакали щуки от слов
о сладкой любви к угнетенным.
И кончил святой. А в ответ
послышалось гулкое «Амен!»
и хлопали рыбы хвостом,
рыдали, крестясь, осьминоги.
И, слезы любви заглотив,
отправились вновь на охоту,
рыбешек глотали, дрались
за жирный участок добычи . . .

А там, на лесистых берегах,
судили охотника звери,

и как заводилу войны
повесили после процесса.
Но, помня завет о любви,
о братстве и милостной воле,
решили его схоронить
как воина, павшего честно.
И движется скорбный кортеж,
трусливые зайцы рыдают,
и в пастырской ризе лиса
к молитве о нем призывает.
Склонили знамена сурки,
хоругви склонили шакалы,
и плачет угрюмый медведь,
и волки о смерти завыли . . .

О Боже, не дай мне дожить
до финиша всякой культуры:
звериной свободы, речей
о братской любви и прогрессе . . .

1946

9. СИБЕЛИУС

. . . где пухом острова
серебряные убраны богато,
где в иглах инея грустит трава,
вчерашний сон гостит запанибрата.

Где пázорей мерцающий венец
над гладью льдин, где крови нет заката,
где Сына нет еще — один Отец
суровый Бог, дремучий и сохатый.

Надтреснут голос — вьюги так поют,
швыряя комья пуха и алмазов,
и маленький, в мехах оленьих, люд
заслушается стынущих рассказов . . .

1958

10. СТАРЫЙ РОМАНС

Сидишь в разбитой горнице
у скучного оконца,
а на дворе две горлицы,
классическое солнце.

Как водится, две горлицы
поют любовь и солнце,
как принято, у горницы
косяцато оконце.

Еще бы плащ с гитарою,
да самовар в беседке,
да песню сладко-старую
о прелестях соседки,

как над любовной парою
дрожат сирени ветки . . .
Прости мне песню старую:
я не забыл соседки!

1945

11. ГИТАРНОЕ

В умирающем покое
еле брезжит тихий свет,
в этом призрачном застое
жизни не было и нет.

Только бродит тень с лампадкой
по скрипучим залам сна,
да осветится украдкой
над старинною укладкой
облик трепетный: — о н а.

Дребезжащую гитарой
треснут стёкла тишины, —
над обнявшеюся парой
кошкой старой и поджарой
выгибают спину сны.

И мурлыкает и стонет
дым столетий — тишина,
алый свет лампадки тонет,
в рамке руки в грусть уронит
облик трепетный: — о н а . . .

1961

12.

Звонит мелодия — и простодушно плачет
прабабушкин надтреснутый рояль.
Да, жизнь прожить — нелегкая задача.
И папиросный дым седеет как печаль.

1948

РУБЕЖИ

*Черноризный, златоризный, —
над тобою вьется, плещет,
языком лизнет, трепещет,
воздух жаркий и капризный.
Пододвинусь, сяду ближе,
на атлас сквозящий гляну,
на сверканье змей, что лизут
раскаленную Нирвану.
Руки огненные нижут
четки подневольных дней . . .*

1941

Девять мертвых нищих старух
из-под Федора Стратилата
ковыляют на Страшный Суд.
Взгляд стеклянный давно потух,
спина истомленно-горбата,
ртом беззубым репу сосут.
Путь морозный хмур и сух.
--- Жизнь, о Боже, наша богата:
— испустили с голоду дух.

— Суди нас, суди нас строго --- —
— за отвар из мерзлой капусты,
— за жизнь, забытую счастьем.

-- Не девять — нас много, много, --
--- бескрылые души пусты, — —
· · · · · безносого дети ненастья.
- Забыты, забыты Богом.
Жадно жамкают репу, капусту,
стоят, гнуся у порога:

одна — кисть кровавых рябин,
другая сует кочерыжку,
а третья - - мальчишеский гроб,
подгнившие листья осин,
жмыхи и овсяную пышку
и венчик, надетый на лоб:
— На фронте пропят и мой сын,
-- кровавую вспомни отрывку — —
· — суди · — — и останься Один.

— Наш путь · · по себе, не в Твой рай,
— за грешным иду я мальчишкой,
— за голодом смятой душой.
- - К чему просфора-каравай? · ·
· — мы слезною сыты коврижкой, —
— не нужен нам сытый постой!
Назад идут в выжженный край,
костями гремит гроба крышка:
не страшен им Суд — — страшен рай.

1941

Кот-кудесник серо-пестрый
морду моет лапкою.
Месяц тощий, месяц острый
снег метет охалкою.

Дремлют звери, спит народ
под снегами-шапками.
Кот метелицу зовет
бархатными лапками:

— Край безлюдный, край убогий
— замети, метелица! —
— И у Бога на пороге
— снегом грусть расстелится . . .

И горит кошачий глаз,
как звезда падучая.
Зимний предрассветный час —
гибель неминучая . . .

1942



Вдоль аллея пылают георгины —
на прощанье солнце так легко, —
а кровавый ток кистей рябины
в воздухе парном, как молоко.

Осень, крепкая, как свежий дух аниса
иль антоновки смеющийся квасок,
убаюкай скучного Бориса
под пчелиный солнечный басок!

1942

Вяжет бабушка платок.
Свечка догорает.
Блещет сказочный Восток.
Сладко кот зевает.
— Как вскричит Индейский царь:
— «Излови жар-птицу!» —
И узором вьется старь
про красу девицу.
Падают очки на стол.
За окошком вьюга.
Кот проснулся и завел
песни о подругах.
Пленками прикрыл глаза,
лапы месят тесто . . .
— И пришла к нему коза:
- - «Я твоя невеста! . . .» —
А в углу трещит сверчок
вперебой с часами . . .
Милый солнечный волчок,
милый детства уголок
с кошками и псами.

1942

АВВАКУМ

Мыслишь, — я сгорю в поповском смраде,
душу, думаешь, мою исхитит бес? —
Не гореть свече в крошечном аде,
а душа спасать — в дремучий лес.

Там, в лесу, убогая пещера,
в той пещере камень гробовой,
Ангел там стоит сторожевой:
ярый зрак и огненная вера.

А под камнем мертвый Русский Спас,
гусли Царь-Давыда у пещеры,
колокол двуперстой древлей веры,
весь в огнях лесной иконостас.

. . . Шли в колодках, жгли нещадно в срубах,
снегом засыпали души христиан:
радуется ад в победных трубах,
горсти-куке сыроядцев-никоньян.

Но восстал наш Спас. Мы узрим, братцы,
гвоздный знак Исуса-мужика.
Рассыпаются царевы святцы,
ирмосы поет могучая река . . .

1944



Скрипнула лестница. Ангел вошел
в дверь, открытую почтальону,
благословил убогий обеденный стол,
улыбнулся детскому медальону.
И стало вдруг тихо-тихо:
пролилась вербная тишина,
отползло столапое лихо,
забылась война.

А на столе письмо . . .

1944



Города, города, города,
словно карточных домиков стадо .
Никому, никуда, никогда —
ничего мне от жизни не надо.

По дорогам немецкой земли
я влачу свою ветхую тачку,
и качаются кашки стебли,
комары хороводят заплачку.

Никому, никуда, никогда —
ничего мне от жизни не надо . . .
Деревень обозлившихся стадо . . .
Города, города, города . . .

1945

БАМБЕРГ. СОБОР. ЧЕРНАЯ МАДОННА

«Всадник»-статуя Собора. Негры-католики — американские солдаты в Соборе. Лето 1945

Белые с желтым знамена,
желтые с белым знамена,
кружево каменных башен,
мощных соборов трезвон.
И у Предвечного Тропа
золотом брызжет корона,
золотом мчащихся пашен,
улочек узких препон.

Дьявол вцепился в святого,
радостно машет хвостом.
Боже, помилуй святого! —
Нрава художник простого,
душу обретший постом.

Синее небо глубоко,
синее небо высоко,
всадник умчался далёко,
бросив понурый собор.
Дружно сгрудились колонны
вкруг африканской Мадонны —
каменный выпренный бор.

Нынче легко Ей молиться —
в городе близкие лица
темных ливийских гостей.
Царственный Всадник умчался,
каменный Всадник умчался
в капище готских костей.

В золото воинской славы,
готской немеркнувшей славы —
нет там ливийских гостей:
воины лишь да монахи,
жертвы костра или плахи
или раздольных морей.

Город стоит среди пашен,
кружево храмовых башен
в хоре забытых детей,
желтые с белым знамена,
белые с желтым знамена . . .

1945



Чужое небо надо мной,
чужое солнце надо мной,
язык чужой, народ иной
и чуждые глаза.

И тяжело жить, и надо жить,
у очагов холодных жить,
и вьется путанная нить
ненужного пути.

Кричит церковный мне петух,
кричит железный мне петух:
— Не все ль равно, где б ни потух
— твой жизненный огонь?

— Ведь то же небо над тобой,
— ведь то же солнце над тобой,
— и тот же вековечный бой
— за хлеб и за любовь . . .

Нет, я хотел бы умереть,
в земле родной мне умереть,
на языке родном мне петь
под золотой сосной . . .

1945



Он брел, качаясь, сквозь века
по той же Невской перспективе,
и мутно-рыжая река
звенела льдинами в разливе.

Он брел . . . Куда? Куда влекла
его судьба? К какой невзгоде?
К какой неведомой природе
он вырвался из-под стекла?

Лабораторный, не живой,
но ветхо-юный, вечно-новый,
он умозрительной ногой
влачит чугунные оковы.

А с ним, как отзвук, словно тень,
его двойник, его товарищ, —
и меркнет нерасцветший день,
ища души среди пожара . . .

1946

Ходят, бродят и молчат,
только взгляды говорят,
говорит несытый взгляд:

- Я хочу тебя!

Истомленный стаей скук
алчный и понятный стук:

— Я хотела вам сказать . . .

— Книжек нет ли почитать? . . .

— (Пожалей меня!)

Скука. Мука. Пустота.

И чужбинные места.

А в душе — боязнь пустот,
чувственный и алчный рот:

— Дайте книжку . . . Я — одна . . . —

И понятно всё до дна.

Рифмы: кровь, любовь, морковь,
простоквашу изготовь!

Ненасытна наша новь:

— Дай же мне тебя!

Голод, молот, холод, сеть:

жить? Сгореть? Иль умереть?

Примириться? Угореть?

Сжиться, не любя?

Так: собака у попа,

поп ее любил,

сперла мясо у попа,

поп ее убил,

и в землю закопал,

и надпись написал,

что: собака у попа,

поп ее любил . . .

Ходят нынче, ходят век,
брызжет скукой человек,
но, раздольнее всех рек,
тяга п о р о ж д а т ь . . .

— Извиняюсь . . . Сколький час? —
— «Сядьте». — Я назад сейчас . . . —
А в глазах: — Твоя, твоя . . .
— Только . . . как начать?! . . .

1946



Ну, что ж? — Чужие очаги увидим,
познаем жен чужих, чужое счастье,
под чужеземным небом улыбнемся
несбыточной мечте об искупленье.
Печальной радостью ума упьемся,
уйдя от всех, кто засекает землю
родную — или строит терпеливо
родные дома — перед новой бойней.
Чужое небо холодно посмотрит
на наших мыслей грязные обноски
и дождиком косым на нас прольется . . .

1948



Там, в глубине таинственной колодца,
звонит душа кристальной струей,
и наклоняется над срубом лик уродца,
вчерашний облик — незнакомый — мой.
Чуть сыро. Чуть свежо. И тянет губы
в сырую мглу мое в ч е р а -двойник.
В руке уродца брезжущий ночник:
он тускло освещает темень сруба.
И снова всплеск. Коптилки брызнул свет,
и поглотила ночь лицо уродца.
Вчерашний облик (мой двойник — иль
нет?) —
там, в глубине таинственной колодца . . .

1948



Канарейке надо дать возможность
воспевать веселую герань . . .
Тщетную люблю предосторожность,
хохоток возлюбленной: «отстань!»
Разучились ласке самовара
отдаваться без тоскливых «но»,
но люблю цветастое окно —
в тяжкий полдень отблески пожара.
Господи! Покой и тишина:
никаких не надо антимоний.
Счастлив пробудившийся от сна,
искушениям поддавшийся Антоний.

1949



Один, опять один, всегда один:
мне, видно, воли нет отвоплотиться:
я — ангел каменный готических вершин,
на зов моей трубы слетают только птицы.

Железом я прикован к высоте,
к надмирной чистоте церковной кручи,
гремит моя труба о Вечной Полноте,
и каменная мысль возносится за тучи,

но силы нет взмахнуть изваянным крылом . . .

1950



Его любил ведь кто-нибудь на свете,
и вот один, искромсанный, худой,
и никого на всей пустой планете:
лишь морг и голуби. И стынущий покой.

Грудная клетка, словно остов дома,
небритая седая борода,
а у больницы цветая вода —
заросший пруд. И осени саркома.
И только голуби прожорливо ворчат:
— Надежда есть: на неостывший ад.

1950



Наискосок, а может быть, и прямо,
но уходи в дремотную печаль,
пускай дробит бессолнечная рама
дворов бездонных призрачную даль.

В безлюдьи шумном спертого колодца
грусти о нежной заспанной весне,
качай в душе безгласного уродца,
к уюту слов прижмись еще тесней.

На небо не гляди: там дымовые трубы:
иная радость пришлым не дана:
сухие и обветренные губы
не освежит неотчая весна.

1951



Тень от тени — или крест
на седой дороге?
Я не знаю этих мест,
медлю на пороге.

В небе полная луна,
тени крестят землю,
и душа моя одна,
с нею ночь приемлю.

Кто-то бродит — мой — иной —
в лунном мирозданьи.
звонко говорит со мной
полное сознание.

Вечно, о вечно куда-то, где нет ничего
из ничего возникающего ежеминутно:
утро, рассвет, тишина.

1951



Всё вдали, всё вчера, не забыто:
и кумач обнищальных надежд,
утлой радости в щелях корыто,
и заплаты родимых одежд.

Как, голодный, бежал по проспектам
в бытие первозданных идей,
улыбался всесветным проектам
и прохладе ажурных аллей . . .

Май бездомный . . . И вера, что книга
разрешит все томленья . . . И звон
опустелого сердца . . . Коврига?
Нет, она не спасет. Может, сон?

Бытиё-забытьё. И потемки
озарялись простой, как вода,
верой.

Сытые наши потомки
не поймут. Ничего. Никогда.

1952



Котофейч Котофей,
не пролейте кофий!
Каплями приманишь фей,
остро пахнувший шалфей
заварил себе Орфей,
будет пить Прокофий.

Почесав блошиный зад,
чорта ссудит фигой,
и кота погладит над
теософской книгой.

Котофейч Котофей —
перевоплощенье:
остро пахнувший шалфей . . .
По лугам бежит Орфей
адова хищенья.

В узких и слепых зрачках
золотая лира . . .
Отмурлычь невнятный страх:
сладким кофею пропах
закоулок мира.

1955

...духи парные обретают полноту личности
лишь воссоединяясь с другим: женой, мужем.
Но есть духи непарные, навек обреченные
одиночеству.

Из гностиков

Да, одиночество. — Удавленное слово. —
Так тихо, чисто: никаких расстройств.
Такой покой. В покое у больного
такая тишина. И словно славных свойств
исполненное *пусть*.

И слово, словно слава
бесславных и бессловных дел. И пустота.
И дней опавших гулкая орава,
полынно-полая, как простота.
И около — ничто. И окала, качалась,
казалась, кучилась, кусалась грусть,
касалась, корчилась и приникала жалость
и простодушно простиралось *пусть*.

Так вот оно, что рассеклось — и не
срослось: кровотоцит, да и к тому ж
не стало целым: ни жены в жене,
ни в муже — муж.
Ни раб, ни господин — —
один.

1956



Не любовь — в чужой пивной под вязами:
нужен русский день, забор, крыльцо,
и кусты сирени, тени долговязые,
нос веснущатый и круглое лицо.

... Отблеск яблок Золотого века
в углу сердце человека ...

1956



Так, чтоб сердце ушибалось больно,
крылья оббивая о стекло,
падало, но снова своевольно
в ту светелку, где душе тепло,

устремлялось. Сломанных воскрылий
не страшась, упором светлых глаз,
всею тяжестью любви, усилий
воли — и сейчас,

и каждый раз —

к бабьему, заветному, простому, —
ну, как мўка, хлеб или вода, —
к зверьему покою, как к парому
через реку — жизни? смерти? — как когда, —
всё б летело, расточая душу,
находя, теряя и любя,
всё забыв, всё помня, — ярче, глуше,
но всегда ища во мне —

тебя.

1956



Да, косынка. В темной старой Риге.
Мокрый снег. И хлюпает трезвон.
В этом дальнем позабытом миге
не смигнешь того, чем дышит он.

В бормотанье — «Господи помилуй», —
в непривычной староверской мгле,
в песне свечек, милой и унылой,
цитадель венчающей игле —

— Ой, запретно. Ох, не по завету . . . —
А косынка с ветром вперевой,
с ветром, звоном — и не жди ответа.
Чуть пушок над верхнюю губой.

1957



Не заумь — ум. Не ум, а заумь.
Всё больше в жизни дважды два,
пожалуй, пять. Пожалуй, камень
заместо хлеба — сына для.

А в языке, а у поэтов
всё те же дважды два - - четы-
ре, или хлад и темень Леты,
разлука любящей четы.

А, может, в этом смысл печальный?
Быть может, нужно иногда
сказать не: «может быть, пожалуй . .
а лишь отчетливое — «да».

1960



В квадриге тяжелой быстрые, как мысль,
и арка распахнулась, как живая, —
и ты вдыхаешь воздух юных лет,
двадцатилетний воздух, замирая

от спертости печальной голубой
невыказа того, что народилось, —
квадрига рвется в поднебесный бой,
и ангел с бурой закивал колонны.

О майский Питер, в пухе облаков
обваланный от цоколя до шпиля,
Невой уласканный, ты и теперь таков —
корабль, гранитный от кормы до киля!

Квадрига тяжелая — и неба легкий пух,
и ты летишь в увей воспоминаний, —
а над Невою весны парящий дух —
и глаз слезящийся плешивых воздыханий.

1961



Вся как есть исхожена словами,
только нету этих слов верней, —
чем — любовь и вера. И над нами
солнце золотится золотей.

И святится солнце словесами
на ступенях родины моей,
золотится солнце телесами,
загорает ржавчиной полей.

Брызжет клейкою листвой березы,
песнями ликующих любвей, —
звонко щелкают весенние морозы
по ступеням алым от кровей.

И идем, идем в торжественное небо: —
лестница как будто невподъем —
разверзает огненную требу
солнечный и звездный водоем.

И плывут слова над облаками,
оставляя тот же горький след,
словно сладкий сон скользнул над нами —
сон, в котором сновидений нет.

1962



Милое злокозненное чадно:
чадно в мире — уповай на чудо:
чудный витязь побивает гада:
зев чудной, но очи ж — изумруды.

В ночи ж точишь меч на супостата,
дивному покорствуя примеру
Юрия, святого стратилата, —
и стремишь сражаться в стратосферу.

Не стихи ж решать как теорему, —
воевать летишь в широком мире
и ракетную свою трирему
направляешь ввысь — и выше мира, шире.

Шире мира, выше гор Памира
ты взвиваешься, злокозненное чадо, —
и молчит расчетливая лира,
ожидая пораженья гада.

1962



Уходи, душа, не прячься в слово,
в слово, оперенное на славу,
пусть Нева, пусть новь, пусть все, что ново,
все, что ново, что тебе по нраву.

Не Москва, что Немосквою стала,
Китай-городом привыкшая к Китаю,
что индийским лалам путь устлала
и Берлином повернулась к маю.

Эк, подумаешь, вселенская уездность!
для тебя ль, что крылья распластала
для вселенского словесного накала —
не в бездонность, а скорее в бездность

увлекая, не в Китай, не в Конго —
на тот свет, в подвздох — и за пределы
духа, под трезвон, орган, удары гонга, —
где нет слов, где немые, где умелы

слов бессловье — и душа, как птица ...
Нет там слов, и Слово там гнездится.

1962



На четвереньках шел трезвон
и обращивался медным
гуденьем пчел под небом бледным,
над строем изб понурым, бедным
забытых Господом сторон.

И над смиренным озерком,
качая звон двуперстных далей,
покрытых девичьим платком —
и ничего-то здесь не жаль ей, —
творит по лёстовке поклон.

И всё тут есть — и ничего:
лишь даль отверженной равнины,
речушек зябнущих низины,
трезвон невнятный про Него . . .

1962



Золотой сквозящей лесенкой —
листьями осенними по дороге в рай, —
серебром звенящей песенкой
не вызванивай, не зазывай.

Только снегом расстели дороги,
только зимние построй мосты,
чтобы звонкие бежали ноги,
чтобы смехом рассыпалась ты.

1962



Забрызганы каменные ступени,
исщерблены облезлые стены,
но прекрасен синий купол,
поднебесный купол с золотым крестом.

Подымаются рядом стропила,
лезут краны с ковшами цемента,
на лесах матерится десятник,
а крест прорезает небо.

И так ненужен гудок фабричный,
хлопотун и ругатель десятник,
когда синее вечное небо
перечеркнуто золотом победы.

1962



Серый, седенький, дождит,
зелень, как воробушки . . .
Ну, куда ты, погоди, —
спой: «полна коробушка» . . .

Песней полон влажный рот,
счастьем — «Коробейники» —
и любовью. Ну, так вот,
вот твои затейники.

Солнца выжди. Погоди,
лучше поцелуемся.
Серый, седенький, дождит,
неприятна улица.

1962



Шелестящий, шевелящий,
обрывающий, свистящий —
уцелеть бы, уцелеть!

Дождь сечет, сбивает ветер:
неприветливо на свете:
дай хотя б взлететь!

Мы в лохмотьях, мы в охлопьях,
в оборванцах и холопьях —
только бы не смерть!

С воробьями под карнизом
понахохлившись сидеть, —
то ли верхом, то ли низом,
грязнобурым, мокросизым, —
но не умереть...

1963



Широко распахнуты ворота:
значит, ждут: вползет глухая боль,
всхлипнет лестница; за поворотом
кто-то шопотно и немо: — Не неволь!

— Не пойду в весеннюю я землю,
— не хочу лежать в гробу:
— боль земли я радостно приемлю —
— душу мира — Господа рабу...

Но не слушают чужие плечи,
подымают, медленно несут...
О, дрожащие немые речи,
о, последний деревянный суд!

1963



У прибрежного парка нелепая барка
в просмолённом своем естестве.
Солнце медное прыщит, самоцветы разыщет
в кружевами сквозящей листве.

И течет еле-еле в холодной постели
истощавшая за ночь река, —
и железных укосин — ржавый скрип их
несносен —
небу полдня грозитя рука.

Легкой ряби улыбка, река — ровно зыбка,
и не станет радушной она,
да не станет и чище, если кран-черпачище
тины слякоть подымет со дна.

Журавлиность укосин — и синяя осень;
на воде рыбьих всплесков плевки;
только колкие ели, только белые мели,
мелководье, листвы поплавки...

1963



Клейкой клятвой пахнут почки...

Мандельштам.

Сладким клеем брызжут почки,
в лужах сколки солнца,
ива в вышитой сорочке
около оконца.

А оконце не простое:
из лесу к заливу.
Солнце блекло-золотое
гладит девку-иву:

— Наливайся, девка, соком,
косами склоняйся,
не гляди прозрачным оком,
парням улыбайся... —

Ну, а ива... Эх, плакида! —
Косы опустила,
глазки сщурила для вида —
и совсем застыла.

1964



Серебряные трубы
и медные рога,
и шелковые губы
Страстного Четверга.

И свечки, свечки, свечки
на бархате ночном,
как огоньки на речке,
как дальний отчий дом.

И привкус чуть с горчинкой
сушеного гриба, —
весенняя начинка,
березок худоба.

И вешние сережки,
и медные рога,
и холодок внарошку
Страстного Четверга ...

1964



Да, вот так. Мы будем жить на свете
никому неведомым быльем:
перед кем, за что нам быть в ответе,
нам, покинувшим навеки дом?

Пустота немислимой свободы,
отвлеченных дум живая речь ...
Что сберечь нам, пасынкам природы,
что для смутной вечности сберечь?

Горечь беспредельной вольной доли
и уют любимых женских плеч,
светлый всплеск любовной острой боли,
страстью захлебнувшуюся речь.

Вот и всё. Как беспредельно много! —
Только нищий ласке хлеба рад.
Восхвали же Всеблагого Бога
за Его репьем заросший сад.

1964



Как ёжик для мойки посуды
вонзается всток гольё.
Нахохленных птиц пересуды.
Полощется ярко бельё.
Прозрачно, морозно и хватко . . .
С веревок срывает его
в подоткнутой юбке мулатка,
толстуха, улыба, зазнайка,
повидимому — молодайка,
хозяйка двора своего.
Как бубен бельё в подморозе,
в нем ветер бродяжий бубнит,
в стихах и в восторженной прозе
долбит черномазый бандит.
Снимает бельё молодайка,
синее белков белизна,
на крыше, очнувшись от сна,
нахохлились птицы . . .

Дек. 1964



Седьмая печать сломилась,
свернулось небо как плат,
нежданное свершилось
в подножье тронных палат.

Ангелы созывают
всех, кто был и есть, на суд,
свергаются в ад, возносятся к раю,
Божья гнева несут сосуд.

Провалы предвечного неба,
преисподние пропасти земли,
Престолов трубная треба:
— Не погуби, внимли!

Кишат, как черви в ране,
люди, духи, скот:
рассечены все заране
на смерть и вечный живот.

Седьмая печать Завета,
завеса с небес долой:
не будет, не было, нету
тех, кто вернется домой.

1964



И дерево в окне — среди громад
домов, зажатых улицей гремющей, —
и неба лоскуток, и водопад
людей, машин, газет и тягостных шарад,
бегущих вдаль, куда-то все спешащих.
Луч солнца золотит кирпич армад,
плывущих в вечность городской невзгоды,
траву среди камней, пропашую погоду,
асфальта раскаленный ад...

1965



Вьются флаги, веселые флаги,
насупилось раннее утро —
флаги дразнят его, как мальчишки,
размахивающие пестрыми шарами,
прежде чем запустить их в небо.
А нищие ветви деревьев
протянулись к небу за осенним подаянием —
медяками синего октября —
ну, на чашку кофе поздней любви,
последней любви
за стойкой пригородной забегаловки.

Осень, подай мне пятак!

1966



Осень-Латона латунию обивает мне сердце,
как Ниоба к небу простираю руки,
моля о последнем порождении.
Осень-суббота, за что?

Лысеют деревья, как оголяется моя голова, —
долгая спячка ждет их под серебряными ризами
сна,
и они не думают о грядущем воскресении.
Да и воскреснут они ли?

Новая листва-Ниоба залепечет по-ребячьи:
— Мама...

Снова Латона нахмурит латунные брови,
ревнуя рьяно к свежей ветренности возлюб-
ленного, —
и новая неделя года --- уже не та, ушедшая
навсегда...

Суббота, останься, отдайся, остановись!
Нет у осени сил для веры в воскресенье...

1966



Ты думаешь, это легко —
быть суровым, как солдатское сукно,
когда душа протягивает тысячи своих рук
к светлому ожерелью жданно-желанных встреч,
к бисерным нитям радостных слез?

Нет, не легко быть начищенным
как медная пуговица военного мундира,
когда рассечен надвое
казацкой шашкой разлуки.

О, скорей бы срастись,
как березка, на которой пробовали остроту
шашки,
но вновь слившаяся в таинстве соития —
неистребимом волении любви.

1966



Телá и вечности - - одно и то же,
и души в двуединстве тел сливаясь
войдут друг в друга:
Вечность и Подруга.

В объятых истечения двух токов
прольется миг, и жизнь, и воскресенье
истоков совершенного сознанья.

Познанья яблоко, запретное как память,
добра и зла сверхмысленная зáмять,
ты -- Вечность вечностей --
взаимная самоотдача —
единство всех единственных единств.

1966



Растерзан день — подстреленная птица, --
стремглав в падении - -
взмах крыльев все слабей,
и капли крови на еще зеленых,
еще не обнажившихся пред смертью деревьях.

А птица не кричит —
последних содроганий,
последней сүтеми безмолвное «люблю».

День без тебя —
подстреленная птица, —
я больше не могу
без крыльев, без тебя.

1966



... О вечной жизни молят небеса,
для вечной жизни строят агрегаты ...
И выпала кровавая роса
на Стратилата латанные латы.

И Стратилат сгребает сперму звезд,
перегоняет в колбах и ретортах -
дабы в теплицах рожениц-борозд
выращивались вечности когорты.

Гудят в густой тайге колокола:
поддонный Китеж падок на моленья.
Визжит на Керженце безбожная пила:
возводит новое безбожное строенье ...

[1947] 1967



Парус лодочки дряхлой на древнем море,
древняя влага любви и солнце рябое под ветром,
о глаза, глядящие в первозданность, —
любимая, подыми свой сверкающий парус!
В небо летит напряженность страсти,
тело ж бескрыло — ему за ней не угнаться:
дряхлая лодка, но парус влечет ее в море:
любимая, ветер свежеет. А солнце . . .

1967



И вот когда-нибудь
раздумчиво и грустно
придешь на берег некогда родной,
на реку умную
в песчаных берегах
замедленно несущую в безбрежность
кровавую осеннюю листву.
Вдохнешь всей грудью колкий ветр
октябрьский,
колеблющий корявую сосну,
на лысый камень бережно присядешь,
припоминая майский поцелуй
вот здесь,
в вельветовом тепле песка,
под скрытным камнем и сосной прибрежной.

В звенящем стекле осенних коридоров,
устланном золотом верности и кровью листвы,
так прозрачны дали бегущих в небо
всхолмлений —
волосатых мышц завалившегося спать старого
крепыша Атланта.
Небо — ласково-прохладные как белое вино
груди любимой,
нежно прижатые к просыпающемуся на
сентябрьском рассвете
среди звенящих стекол бесконечных коридоров,
бегущих к Богу,
теряемому и вновь находимому
в твоих крепких как яблоко
плечах.

Любимая!

Только в тебе та тончайшая горчинка,
какую пьешь в воздухе просторного сентября,
без которой жизнь —
та же небесная манна,
с отвращением равнодушия необходимости
глотающаяся евреями,
в пустынных скитаниях вожделенно
вздыхавшими
о чесноке брошенного Египта.

Щуршит под подошвами осенняя листва:
я бегу к тебе,
наскоро умывшись рассветным солнцем,
по сквозящим переходам склонившейся жизни,
боясь пробудить вспотевшего утренней росой
Атланта:

скорей бы к добрым коленям,
мудрой плоти,
свежей земной любви!

1967



Дружба рождается не как дитя, не сразу,
а как вино, крепчающее год от года
В бочке, слаженной на диво из плотной дубовой
клепки
мохнатой ручищей любомудра-жизнелюба —
богоравного бочара.
Сначала сладкое сусло — зеленое, чуть с
кислинкой,
подверженное случайностям ветреной погоды
(нет, я люблю тебя за то-то и за то-то), —
оно бродит потом в уверенной в себе дубовой
плоти,
коричневая, буря вспышками руготни и
бульканьем воркотанья
(но почему все же, варум, пуркуа, май дир?!), —
и наконец вскипает густой кровью сердца
пожившего — и потому знающего,
что такое жизнь,
а потому осторожно и бережно
разливающего вино плоти
в протертые до раннеосеннего блеска
хрустальные бокалы духа,
уверенной рукою поднятые к сводам жизни:
— за встречу, за верность, за дружество, —
— за друга!

1967



Сколько клюквенного дыма
в опереньи серафима!

Опирается на меч
Михаил, водитель сеч.

Латы златы, и палаты
тароваты и богаты:

охраняет он Престол:
Божий трон и русский стол.

Льется скатерть русских брашен
на раздольи русских пашен:

золотой духмяный хлеб
и вино Господних треб,

яблок пестрых самоцветы —
стародавние заветы:

не красна изба углами — —
пирогамы, пирогамы!

Михаил Архистратиг
меч запрятал и утих...

Цвета песенного сада
перед образом лампада.

А хозяйка чуть полна —
океанская волна:

груди — кувшины вина
(без вина душа пьяна),

очи — сказок хоровод,
губы сладкие как мед —
жизни радостный кивот!

Михаил Архистратиг
меч запрятал — и утих...

1968

ЯБЛОКО

ЯБЛОКО

1.

Счастье растет на древе жизни как яблоко —
сорвать его не труднее, чем любопытной Еве, —
и пусть даже оно обернется кислым дичком, —
все-таки оно сорвано, яблоко,
и началось все, чему надлежало начаться,
без чего жизнь была бы только детским садом,
старинной прописью запрещений
и лишь мальчишечьим подглядыванием в щелку
забора, окружающего рай, —
что же творится на белом свете? . . .

2.

Думаю, — Ева была итальянкой:
ее любопытство привлек скорее изысканный
иноземец-Змей,
чем простодушное румяное яблоко.
А Адам, несомненно, был негром,
беспечным садовником монотонного рая:
мог ли он работать без хозяйского присмотра?
И почему не съесть плод запретный,
когда Господин не видит?

Он пел и тогда, когда его изгоняли из рая:
ведь с ним была и полногрудая белая жена,
и он уже нанялся к другому господину —
Туку-Муку-Лумумбу,
создателю слона и барабана.

3.

А яблоко мы теперь даем детям.

1969



Эта древняя глина,
обожженная греками Гомера,
отъединилась
в новом здании
американского университетского культурного
центра, —
чернофигурная ваза
для вина хиосского,
твоя ли вина,
что вокруг слоняются
бородатые и босые, —
не брадатые полунагие эллины,
о нет, —
не радующиеся звонкой глине тысячелетий,
где вытянутая на округлой поверхности фигура
стремится в суровое счастье,
добываемое меднообутыми воинами
для их полногрудых, с чадообильными лонами
жен и наложниц,

рождающих воинам
крепких как яблоко детей...
Нет, бродят безвольные выкормыши
настойчивых отцов,
уверенно упиравшихся
баптистскими и методистскими ступалами
в асфальт вавилонов и вавилониц
тучного Нового Света.
Отцы-то понимали
гулкую медь щитов и разящую медь мечей
разбойных,
сами копили золото
и вот эти древние вазы,
даже не вникая в их тленный запах былого
величья,
еле-струйный дух вина, огня и земли,
любовного пота жен,
боевого пота солдата.
И у них было свое —
Неулыба-Бог,
распевающий унисоны моральных прописей
среднего человека,
руки в мозолях неустанной заботы,
чинный и замкнутый домострой среди лязга и
грохота заводов
и крутая устремленность
к своему достоинству и свободе.

Но что и отцам и детям эта звонкая глина?!

1969



Дом заколоченный с продавленной крышей
и на крылечке негр -- седой слепец,
у ног его облезлая собака
с унылью преданной в слезящихся глазах.
На слом, на слом -- и дом, и жизнь, и солнце,
и пса шершавый пристальный язык, —
и остается лишь незрячая улыбка
и соль горячая . . .

24 апр. 1971

ИТАЛЬЯНСКОЕ ЛЕТО

МИМОЛЕТНОСТИ

1. ГЕРАКЛ

*Эллинский барельеф в церкви S. Maria Sopra
Minerva*

Пальцы хрустнут — хрустнет позвонок, —
убиваемый, любимый — нет спасенья...
Весь — напряженность, и в первозданность — —
пальцы ног,
когти лапы раздирают темя.
Зверь мой, лев мой — затворил глаза,
гривы дух пьянит необоримо:
факел вверх — в крови любви заря,
факел вниз — в крови любви развязка.
Смерть — твоя ль, моя ль — — уже равно:
пальцы хрустнут — хрустнет зверя выя...

2. ФРЕСКА В ЦЕРКВИ ЧЕТЫРЕХ УВЕНЧАННЫХ

Трое — с озабоченным челом —
мчатся, взмыливая лошадей, к попу Сильвестру,
лезут в гору, рвутся в Квиринал:
— Исцели Царя, святитель Папа! —
Луч скользит сквозь прорези бойниц:

белый клóбук -- Кесаря даянье, —
мула Папы Кесарь под уздцы
в шествии ведет на стогны Града.
Град пресветлый — седмихолмный Рим,
ты вовск неотделим от Папы:
белый клóбук купола Петра,
миродержец Рим — даянье мира.

3. ОКОЛО ПАНТЕОНА

Дранные и мрачные кошки Пантеона
бродят средь любовников, волоча хвосты.
Тучный итальянец продает иконы,
сувениры Рима, медные кресты.
А над мощью купола неохватность неба,
грузно кучерявится кипень облаков,
торгаши и кошки рыбы ждут и хлеба
от гордыни каменной суеты веков.
Обнимай подружку на ступенях храма,
но не позабудь кота и торгоша...

4.

Аполлон играет на гармошке...
Разве должен Аполлон быть бритым?
Мамма миа разложила груди на окошке,
в ресторане уличном бродят, вьются кошки
с видом независимым, нищим или битым.
А мальчишка собирает баянисту плату —
Ганимед зачучканный в ситцевой рубашке,

и с глухим шуршаньем падают бумажки,
тусклые копейки бывшему солдату.
Ах ты, Рим! — ведь рядышком храмы и палаты,
и белье полощется на монастыре,
фрески в подворотне склада тусклой ваты —
жизнь, простая жизнь — — и важные прелаты,
кошки и гармошки — всё на алтаре...

5. НА ПОНТЕ ВЕККИО

Иоанн Креститель в лохмотьях заправского
хиппи

поет собравшимся вокруг форестьерам
сладостным тенором «Ай лав ю».

Стемнело. Осталось нас трое:

певец,

старик с наплаканными глазами

и я.

И Креститель запел вдруг другим голосом и
другое —

не уличное, не оперное, не церковное —
простое

как небо и хлеб,

густое и пьянящее

как кровь и вино,

то, что никогда не забудешь:

— Это песнь не Италии, это песнь моей

прародины:

— я — еврей из Ливорно.

6.

У моей соседки во флорентийском пансионе —
негритянки-туристки из Чикаго —
черный звонкий пудель на меня весело лаял,
когда я шел мимо
поутру в душевую.
А его полуголая хозяйка
улыбалась мне фаянсовыми глазами.

7.

Может разве мистика гнездиться
в радостной и развеселой Съене?
Нет, скорее в затоваренной богатством
чванной родине тощего Алигьери.
И на площади — обожженной солнцем миске —
бродят немцы тучные, вприпрыжку бегут
англичанки,
и бруклинец-итальянец тонко
запевает арию Манрико.
Экко кьеза! — Полосатая как зебра
и прекрасная как Приснодева:
даже стадо сонное туристов
оживилось и зашевелилось.
Мерной поступью шествует гордый конный
рыцарь в Синьории.
а за ним нестройно несутся поджарые гёрлсы,
и хозяин кабачка лениво
цедит белое вино в бокалы: — —
— ну, к чему так торопиться, люди? —
жизнь и так бежит неукротимо. —
Ловким жестом подхватил монету:
— Грациа, синьоры. До свиданья!

8.

Он возник среди башен Сан Джиминиано —
красавец цветущий в одеждах доминиканского
падре,

таких белоснежных,
как на фресках Симоне Мартини,
выбритый до синевы, вкрадчивый и лукавый.
Покорил сердца ветшающих туристок, —
и на церковь посыпались обильные приношенья.
— Вы, падре, не монах, а чистый
Дон-Джованни...

— «А разве это плохо?»

9.

Тиной и рыбой несет от каналов,
и коты здесь не дикие, как в Риме,
а сытые, очевидно, одним запахом
густой и едкой ухи Венеции.
Полосатые тельняшки гондольеров
облегают торсы обрюзгших атлетов,
и вода полощется повсюду, —
зеленый навар злато-бурой отставной царицы,
нежащейся на изумрудном ковре Адриатики.
На площади Святого Марка оркестрики
ресторанов
играют вальсы Штрауса и Грека Зорбу,
и скрипач вдвое складывается в поклоне
публике, лакающей пиво и кока-колу.
А официанты с лицами Сенек и Платонов
налету подхватывают грошовые чаевые,
и даровые слушатели-венецианцы
толпятся поодаль,

хлопая музыкантам оглушительно-дружно.
За день набегашься по хоромам и храмам
до мозолей кровавых и кровавого пота,
а вечером слушаешь на каналах гармошку
и хрипотцу певца, уставшего за день.

10.

Глоток вина, горбушка хлеба, винограда
кисть — —
и облака над дремлющим Торчелло...
Всё зелено. И старый гондольер,
зевая, крестит рот над тинистым каналом.
А ящериц! — не счесть их среди камней
и даже в придорожной траттории.
А в храме солнечном на небе золотом
синют Богоматери одежды.
И черти синие беззлобно и слегка
терзают грешников —
по долгу службы только:
ведь грех на Адриатике необорим,
а жизнь так сладостна под твердью
изумрудной...
И снова небо, Адриатика, земля
обильная, любимая...

11

Таксист возил меня по всем церквам Равенны.
Он — старый коммунист, был на войне в России:
Дниэпро-Пьетро... Говорит по-русски:

комси-комса, две яйца и здорово.

— Вы русский? Как же так — не коммунист?! —

Мы пили с ним вино:

— А вот наш падре:

он — поп, но он хороший человек:

он любит девочек — кому какое дело? —

ведь это — жизнь: девицы и вино.

А я уж вышел из игры: вино — и только... —

И снова храм: Святой Аполлинарий,

далекий, на окраине Равенны:

на нас глядели овцы и деревья

на зелени такой, что больно глазу, —

и крест над ними высился огромный...

— Как жаль, что вы не коммунист...

А впрочем...

12.

Ну, разве это готика — в Италии?! — —

Вширь почти так же, как ввысь:

нет той устремленности за облака, как на севере:

ведь земля так сладостна и любвеобильна,

а небо... да, ласково, но ведь далеко, далеко...

13.

Разве можно пить кьянти в Риме

и фраскати на улицах узких флорентийских?

Пейте местное вино, синьоры,

и познаете душу города и народа.

ПЕТРУШКА

Лирическое скерцо
на тему Игоря Стравинского

Кругом насмешливые лица, —
Сражен безумный Дон-Кихот.
Но знайте все, что есть светлица,
Где Дон-Кихота Дама ждет.

Федор Сологуб.

— Эй, да эй, да эй! Да эй!
Заходите поскорей!
В нашем пестром ресторане
Караси поют в сметане,
Водок радостных соборы
И колбасные заборы!
— Разлука ты, разлука,
Чужая сторона...
— Проходи-ка, старина!
-- Не протискаешься, мука...
— Кому пирогов с печенкой и луком?!
-- Эх, эх,
Не цыганочка — грех:
Цыганочка пляшет,
Юбочкою машет...
— Ах вы, сени, мои сени...

— Никто нас не разлучит...
--- Ну, что тебя мучит?! —
Всё от скуки и лени...
— Сени новые, кленовые...
--- Подайте, Христа-ради...
— Сама сади —
Къя сади-ла...
— Здорово, мило!
-- Сама буду поливать...
--- Отвяжись, твою мать...
— Помнишь ли ты,
— Квасу! Ленты! Цветы!
— Как улыбалось нам счастье...
— Нонче — солнце, завтра — ненастье:
Всему свой черёд: так?
— Вареный рак —
Пара пятак!
— Сам дурак!
— В нашем балагане
Есть шуты с рогами! —
Невелик расход —
Пятачек за вход!
-- Нитки, нитки!
— Почтенный, не хватай за титьки:
Я не такая...
— Сбитню! чаю!
— Я по мил-ламу скучаю...

И, как ветер, врезался флейты канкан:
Холщевый открыт балаган:
Раз, два, три:
Смотри:

Не девка — картина:
Известная Б а л е р и н а:
Пышные груди дрожат под рубашкой,
Глазки стреляют, дрыгает ляжкой —
Милашка!

Номер второй! А р а п. Басурман.
Скучен как догма. Богат как Морган:
Танки,
Банки,
Самобранки —
Молится Богу и бьет в барабан.

Третий: П е т р у ш к а:
Лицо — ватрушка,
Кренделем нос,
Горб в спину врос.

Петрушка — русский,
В курточке узкой,
Немцами сшитой,
Подбородок небритый,
Плюгавый человечиска, битый...
Ну, так что ж? —
За поясом нож
Перочинный,
Покрыт Петрушка овчиной.
Но шкура овечья,
Душа ж — человечья, —
Описал бы, да недосужно...
А много ли человеку нужно? —
Уголок любви. Еда.
И свобода (иногда).

Любит, бедный, Балерину.
Бьют Петрушку в шею, в спину.
Чернь хохочет. Каждый рад.
Мчится жизни маскарад...
Балерина льнет к Арапу,
Жмет удачливую лапу,
Нежно ляжками трясет,
В золотой целует рот.
И Арап в дешевом ресторане
Нежится с красоткой на диване.

— Где они? В ресторане? —
Мчатся петрушкины сани
Прямо к ресторану:
— Ах, не бередите
Душевную рану...
Ах, опередите... —
Ах,
Застряли в снегах!
Пешком! Бегом!
— На-лево! Кру-гом!
— Стой! — Забежал в отель —
Европу:
— Ты куда с посконным рылом! —
И кричат, смеются скопом...

— Эй, сюда, торговля мылом!
— Вдоль по Питерской...
— Всегда свежие пушки, пулеметы,
Самолеты,
Мясо пехоты...
— Белой акации —

Акции, облигации . . .
— Грозди душистые . . .
— Шелка цветистые,
— Меха пушистые . . .

Ой,
Петрушка сам не свой:
Его Балерина
С Арапом — скотиной . . .
— Эй, Арап, в бой!
Разделаюсь с тобой!
— Горячие блины!
— Грушевого квасу!
— Публика, подтяни штаны,
Пожалуйте в кассу:
Это тебе -- финансы, не черная раса:
Вали гурьбой
На последний бой! —

.

Убили Петрушку.
Растворили рожу-ватрушку . . .
Опустела площадь. Смеркается.
Ветер зимний плачет, заливается.
Лепит мокрый снежок. Вечереет.
Мертвый остов рынка чернеет.
Осыпались вывески, краски,
Сорваны маски,
Вместо сказки
В талом снеге темнеет
Гнилая доска . . .
Тоска!

А под снегом незванные гости —
Петрушкины кости . . .
Не суйся, Костоправ!
Балерина чиста — я прав! . .
И в лунных лучах —
Часовому не страх —
Кривляется безумный, бессмертный
Петрушка,
А с ним Балерина — вечная подружка . . .

Свищет ветер песню победную
Про головушку забубённую, бедную . . .
Баста! Еще одну кружку!
За здравье России! За любовь! За
Петрушку!

Декабрь 1942

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Град Невидимый</i>	5
---------------------------------	---

Музыка

1. Бах	11
2. Гайдн	12
3. Моцарт	13
4. Бетховен	14
5. Шуберт	15
6. Верди	16
7. Эдвард Григ	16
8. Первая симфония Малера	17
9. Сибелиус	18
10. Старый романс	19
11. Гитарное	20
12. Звонит мелодия	20

Рубежи

Черноризный, златоризный	21
Девять мертвых нищих старух	21
Кот-кудесник серо-пестрый	23
Вдоль аллей пылают георгины	23
Вяжет бабушка платок	24
Аввакум	25
Скрипнула лестница. Ангел вошел	26
Города, города, города	26

Бамберг. Собор. Черная Мадонна . . .	27
Чужое небо надо мной	28
Он брел, качаясь, сквозь века . . .	29
Ходят, бродят и молчат	30
Ну, что ж? Чужие очаги увидим . . .	31
Там, в глубине таинственной колодца	32
Канарейке надо дать возможность . .	32
Один, опять один	33
Его любил ведь кто-нибудь на свете	33
Наискосок, а может быть, и прямо . .	34
Тень от тени — или крест	34
Пляска искринок в мохнатом луче . .	35
Все вдали, все вчера	36
Котофеич-Котофей	37
Да, одиночество. - - Удавленное слово	38
Не любовь в чужой пивной под вязами	39
Так, чтоб сердце ушибалось больно	39
Да, косынка. В темной старой Риге .	40
Не заумь-ум	40
В квадриге тяжелой	41
Вся как есть исхожена словами . . .	41
Милое злокозненное чадо	42
Уходи, душа, не прячься в слово . .	43
На четвереньках шел трезвон . . .	44
Золотой сквозящей лесенкой	44
Забрызганы каменные ступени . . .	45
Серый, седенький, дождит	45
Шелестящий, шевелящий	46
Широко распахнуты ворота	46
У прибрежного парка нелепая барка	47
Сладким клеем брызжут почки . . .	48

Серебряные трубы	49
Да, вот так. Мы будем жить на свете	49
Как ежик для мойки посуды	50
Седьмая печать сломилась	51
И дерево в окне	52
Вьются флаги, веселые флаги	52
Осень-Латона латунию обивает мне сердце	53
Ты думаешь, это легко	53
Тела и вечности — одно и то же	54
Растерзан день—подстреленная птица	55
О вечной жизни молят небеса	55
Парус лодочки дряхлой	56
И вот когданибудь	56
Вот в эту дымкою подернутую даль	57
В звящем стекле осенних коридоров	58
Дружба рождается не как дитя	59
Сколько клюквенного дыма	60

Яблоко

Яблоко	62
Эта древняя глина	63
Дом заколоченный	65

Итальянское лето

(Мимолетности)

1. Геракл	66
2. Фреска в церкви Четырех Увенчан- ных	66
3. Около Пантеона	67
4. Аполлон играет на гармошке	67

5. На Понте Веккио	68
6. У моей соседки	69
7. Может разве мистика гнездиться	69
8. Он возник среди башен Сан Джиминьяно	70
9. Тиной и рыбой несет от каналов	70
10. Глоток вина, горбушка хлеба . .	71
11. Таксист возил меня	71
12. Ну, разве это готика — в Италии?!	72
13. Разве можно пить кьянти в Риме	72
14. На возглавии горы гордый замок	73
15. И сейчас святой Франциск проповедует птицам	73
<i>Петрушка</i>	74

Printed by WALDON PRESS, INC.
216 West 18th Street, New York, N.Y. 10011

